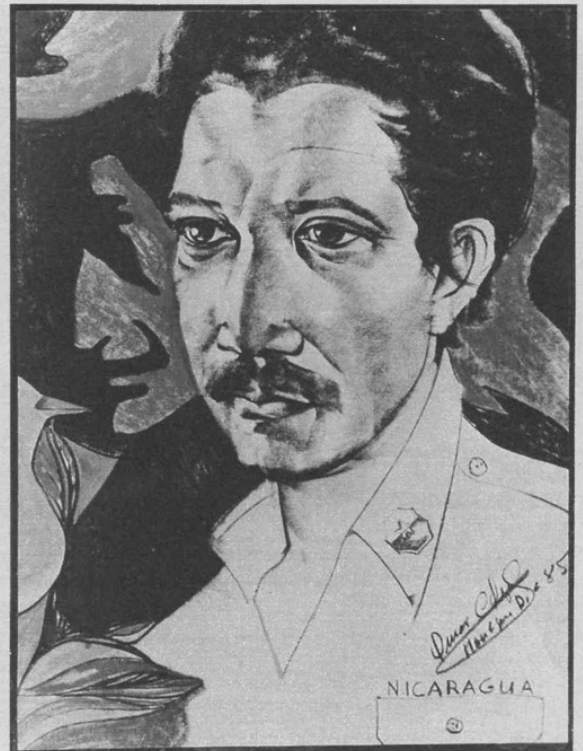


ТРИ ПЕРЕВОДА ИЗ ОМАРА КАБЕСАСА С КОММЕНТАРИЯМИ

В МАТАГАЛЬПЕ —
ЭТО В СТА ТРИДЦАТИ КИЛОМЕТРАХ
ОТ СТОЛИЦЫ НИКАРАГУА,
ИМЕННО ТАМ НАЧИНАЕТСЯ
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ...



Омар Кабесас.

Рисунок
Дарьи
Семеновы

Омару Кабесасу, команданте герильеро, что, весьма понятно, относительно соответствует званию генерал-лейтенанта, тридцать семь лет. Худенький, крепкий, громадноглазый, он часто ходит в тенниске, джинсах и сандалиях — ни дать ни взять учитель или техник. Тем не менее на улицах его узнают сразу же все без исключения — один из отважнейших борцов против Сомосы, в горы ушел шестнадцатилетним, ныне один из самых молодых ветеранов. В Соединенных Штатах и Европе Омар более всего известен как выдающийся писатель. Его книга «Горы — это значит больше, чем бескрайние зеленые степи» (у нас в журнале «Иностранная литература» заголовком был изменен: «Уходя в горы...») приобрела огромную популярность, бестселлер.

— Знаешь, вчера я наконец подсчитал, сколько мои литературные агенты перевели гонораров, — сказал он (мы дружны не один уже год). — И ахнул: миллион долларов! Девятьсот девяносто тысяч я отдал Сандинистскому фронту... Я бы все отдал, но янки наладили экономическую блокаду, и теперь мы вынуждены продавать «Марлборо» за доллары, а я курю три пачки в день, так что заначил на сигареты...

Когда мы расстались в прошлом году, Омар был комиссаром министерства внутренних дел, начальником ПУРа; прилетев в этом году, я встретился уже с заместителем министра.

— Вчера руководство республики приняло решение, — сказал Омар, — все министры и команданте разъехались на праздники в горы, к сборщикам кофе, на границу с Гондурасом. Меня откомандировали в тот район, где я начинал партизанскую борьбу. Видимо, ЦРУ не преминет устроить вылазку наемников именно во время праздников: урожай кофе в этом году отменный, конъюнктура на рынке в нашу пользу, это реальное золото, поэтому все мы и отправляемся поближе к тропам контраст.

...В Матагальпе — это в ста тридцати километрах от столицы Никарагуа, именно там на-

чинается Северный фронт, — каждому отправляющемуся в горы дают автомат, прикрепляют на лодыжку левой ноги «смит-вессон», в машину садятся два автоматчика, и начинается путь в Хинотегу, а оттуда, по красному, ввинчивающемуся в небо проселку на асиенду Лос-Нагалес. Отсюда совсем уж рукой подать до Гондураса.

...Ночь здесь кажется затаенной и непроглядной; фары тревожно высвечивали жирную, ярко-зеленую листву неведомых тропических деревьев, стоявших недвижной стеной, намертво связанных друг с другом удушающим объятием лиан. Когда входил в наш равнинный сосновый бор или поднимался на крымское платановое высокогорье, все видно окрест, взору открываются поля, перелески молодого березняка, синие дали; здесь же, в тропиках, ступив в лес — если, впрочем, сможешь, каждый шаг приходится прорубать мачете, — ты сразу же начинаешь ощущать гнетущее чувство одиночества.

Омар писал в своей книге: «Одиночество — это когда начинаешь забывать шум машин, когда тебе по ночам постоянно мерещится электрический свет; одиночество и в том, что в горах ты видишь только темные тона, тяжелую зелень; ни синего, ни голубого, ни желтого, ни фиолетового; тебе не хватает любимых песен, женщин, тоскуешь по семье, по школьным товарищам, маме, братьям... Так хочешь, чтобы все это вернулось... Оторванность ото всего, к чему привык, — это и есть самая страшная форма одиночества... Никто тебе не улыбнется, не поцелует, не приласкает... Даже дикие звери в лесу, птицы в небе, рыбы в голубых ручьях ласковы друг к другу... Жить без самого простого человеческого тепла, без ласки значительно труднее, чем голодать и мерзнуть, рыскать за хворостом для костра, продираться сквозь лианы; для меня не было ничего страшнее этого бездонного одиночества, и самое ужасное во всем этом было то, что мы не знали, сколько времени нам суждено жить здесь, в этом океане безмолвной тишины...»

— Ты где начинал борьбу? — спросил я. — В этом районе?

Омар покачал головой.

— Разве это монтанья?! Вообще-то, — пояснил он, — это наше партизанское понятие, это не просто «горы», это больше, в одном слове умещается вся наша прошлая жизнь, я даже не знаю, как это можно перевести на другие языки... В этот район мы спустились уже накануне победы, когда Северный фронт объединился с товарищами, которых вели Даниэль Ортега и Эрман Помарес... Здесь еще не монтанья... А кстати, в той деревушке, что мы проехали, я чуть не попался сомосовцам... Я спешил на конспиративное свидание с товарищем, который нам помогал... Ходил я тогда в белой рубашке, в кармане брюк пистолет, за поясом граната, а в руках Библия, — странствующий монашек, таких у нас много... Только я свернул на главную улицу, как сразу увидел «джип»; на нем, свесив ноги, сидели сомосовцы; один из них лениво поднял автомат и нацелился мне в живот:

— Есть оружие?

В таких экстремальных ситуациях на размышление отпущены доли мгновения, не мгновения даже, правда... Либо на тебя снисходит озарение, либо гибель... Я даже не успел толком подумать, как ответить и что делать, но меня словно бы толкнуло, я бросился к сомосовцам и заорал: «Есть, есть, есть!» — И тычу им Библию в лица, продолжая истерично орать: «Вот мое оружие! Божьи слова! Откровения апостолов, которые учат паству миру и дружбе между людьми. А ты целишь мне в живот! За что!»

Сомосовцы усмехнулись; тот, что поднял автомат, кивнул:

— Ладно, иди... Чего орешь, как сумасшедший?

Омар рассмеялся, смех у него заразительный, как у мальчишки, очень какой-то доверчивый. Высунувшись по пояс из окна «джипа», он чутко прислушался, нет ли пальбы в горах: вчера на рассвете именно здесь пыталась пройти банда контраст; двадцать сомосовцев

положили в бою, остальные затаились где-то поблизости, ждут своего часа,—хотя ударить по сборщикам кофе именно в ночь праздника, когда люди будут пить и танцевать.

Он долго слушал ночь, потом удобнее устроился на сиденье и закурил:

— А еще чуть повыше, милях в пяти отсюда, у меня произошел поразительный случай, такое бывает у каждого только один раз в жизни...

Несмотря на то, что монтеры как-то порождают однообразными, ничто так не заряжает тебя динамитными эмоциями, как они. Впрочем, все зависит от человека: один проходит мимо чуда, не замечая его, а другой лишь глянет на какой невзрачный камень и сразу угадает в нем облик Моны Лизы.

Однажды мы делали стремительный марш-бросок, преследуемые сососовцами. Нас было тридцать человек; во вчерашней схватке мы потеряли товарища, поэтому каждый был погружен в себя, и я чувствовал эту затаенную разобщенность особенно остро.

Люди были напряжены, потому что мы не только потеряли брата, не только оттого, что за нами топали правительственные войска, но и потому, что завтра мы должны были обрушиться на противника в определенном месте и в точно обусловленное время — опоздание чревато катастрофой. Если мы не придем в назначенное место точно по времени, мы, помимо всего прочего, потеряем связь с городом, с другими партизанскими соединениями, а это катастрофа, ты окажешься в изоляции, твой отряд будет оторван от борьбы и обречен на пассивное ожидание.

Итак, нас было тридцать; мы шли, сохраняя дистанцию — десять метров друг от друга, живая цепь; когда первый был на вершине, последний еще только переходил ручей в глубоком ущелье. Триста метров в горах — когда за тобой идет погоня, а впереди может быть засада — очень большое расстояние. Оно кажется смехотворным на шоссе, но во время партизанской борьбы это гигантский отрезок, правда. Идущий впереди прорубает дорогу в зарослях, его внимание сосредоточено на зеленой стене леса; последний может увидеть мелких рыбешек в голубой воде горного ручья, который он переходит, а тот, кто посредине, наслаждается ароматом цветов, потому что пересекает высокогорный луг. Если небо имеет глаза и надделено даром ассоциативного мышления, то наша колонна должна была казаться ему гигантской змеей, точно повторяющей рельеф местности.

...Было полдень; мы вышли в поход в пять утра и с тех пор шли через горы без остановок, в очень быстром темпе, точнее сказать, в невозможном, изматывающем, каторжном темпе; каждый из нас тащил на спине боеприпасы, оружие, гамак, палатку, — огромная тяжесть, правда...

Я, как командир, был неким термометром тревоги... Именно так — тревоги и страха, да, страха, потому что я отвечал за всех, и любая мелочь пугала меня, ибо я вел братьев и сестер по борьбе, и я был обязан провести их через горы и укрыть в безопасном месте, чтобы вчерашняя гибель одного из братьев была последней... Я понимал, конечно, что это не последняя смерть, во время завтрашнего боя тоже кому-то из нас суждено умереть, но я заставлял себя не думать об этом, особенно во время такого перехода, я требовал от себя веры в то, что все будет так, как должно быть.

Как всегда, первым шел Хусто, прорубая дорогу в лесу, вторым шагала я.

Внезапно я услышал за спиной птичий свист — фунии, фунии — это у нас условный знак: что-то случилось, стоп!

Я обернулся, почувствовав, как сквозь меня прошел электрический разряд — острый испуг, мощный выброс адреналина; я ощутил кожей, что рядом враг, я даже как бы услышал выстрел и явственно ощутил горелый запах пороха, я представил себе, как все мы попадаем на землю, прижавшись бородами к прикладу автомата, — засада! Я увидел безжизненные тела моих друзей, и я себя увидел мертвым, с пустыми глазами — эдешние птицы прежде всего выклеивают глаза, это у них особое лакомство — и чуть не кричал в отчаянии: «Дерьмо, ну какое же ты дерьмо, Омар! Отчего ты такой невезучий!»

Товарищ, что шел следом, делал условный

знак, чтобы я остановился; я не заметил на его лице особого напряжения, которое предшествует началу боя, значит, враг не достиг нас и мы еще не попали в засаду.

Я повистел Хусто. Тот остановился. Я двинулся назад, к товарищу, который по-прежнему жестами звал меня к себе.

— Что случилось? — прошептал я, приблизившись к нему.

Он молча обернулся: тот, кто шел за ним, объяснил, что его попросили остановиться, что-то произошло сзади.

Поскольку выстрелов по-прежнему не было и вокруг нас плыла тишина, я разрешил себе подумать, что, наверное, у кого-то из наших просто-напросто оборвался ремень рюкзака или какая-нибудь вещь в нем трет спину; в этом случае партизан просит остановиться, хотя такое запрещено правилами партизанской борьбы: поход не должен прерываться ни на секунду. Перед тем как выйти из лагеря, мы специально давали полчаса времени, чтобы как следует приладить вещевой мешок, оружие, боеприпасы; это ведь очень некрасиво, когда один задерживает всех.

Не снимая рюкзака, я начал опускаться вниз, вдоль трехсотметровой колонны. Я проходил мимо партизан и видел их тревожно-вопросительные глаза, мокрые, измученные лица — ведь уже семь часов мы шли по горам, люди мечтали об отдыхе. Мы обычно останавливались в пять вечера, час уходил на то, чтобы собрать дрова, развести костер и сварить фасоль, а потом наступало блаженное расслабление.

Чертыхаясь, я опускался вниз, подсчитывая, сколько же метров мне придется отмахать вниз, только б чего не случилось в самом конце колонны! Я злился все больше и больше: по законам партизанской войны никто не имеет права остановить движение колонны, никто, кроме командира, или в крайнем случае с его разрешения, а ведь меня никто не спросил; кто-то захотел остановить бросок и остановил его. Самовольно.

Я был обязан не просто идти тем размеренным, спокойным шагом, который подчиняет себе человека, вбирает его в себя, сообщает ему монотонность успокаивающего ритма, не дает ощутить усталость, валяющую с ног, а я должен был бежать, чтобы сэкономить время. Когда я миновал пятнадцатого, от меня валил пар. Возле семнадцатого, который смотрел испуганно, но с состраданием, я остановился:

— Что случилось?
— Это не я, — ответил он шепотом.
— Что здесь произошло?! — повторил я, стараясь скрыть ярость.

— Это не я, — снова сказал товарищ. — Это Яоска.

— Где она?
— Там. — Он показывал взглядом на противоположный склон горы.

Я обернулся, посмотрел вверх, но не увидел нашей Яоски.

— Что с ней случилось?
— Не знаю... Шла-шла, а потом посмотрела на гору и стала быстро взбираться на вершину; я ей свистнул, но она не остановилась...

— И ничего никому не сказала?
— Нет.
— Может, ее прижало?
— Она бы сказала...

Я озлился еще больше:
— А у тебя языка нет? Не мог спросить?
— Так она отвалила внезапно, команданте!

Я свистел ей, а она только рукой махнула... А вдруг она дезертировала, подумал я. Не выдержала ужаса нашей жизни — она ж совсем молодая, в отряде недавно — и ушла!

Я рванул в гору, чувствуя, что моя кожа словно бы покрывалась мыльной пеной: ну, стерва, ну, паршивка, только б мне найти тебя, гадость ты эдакая!

Я увидел ее минут через десять, когда уже отмахал половину подъема. Она шла мне навстречу: прелестная девушка среди желто-зеленых лиан, обвивших серые стволы деревьев.

На ее лице был написан испуг; я даже ощутил трепет страха в ее теле; ох какая же она молоденькая, подумал я, лет шестнадцать, не больше, и волосы бело-золотистые, будто она родилась в Вегосии, и рот очерчен четко, хоть и пухлый, детский еще, но уже женственный, чувственный...

Она очень испугалась, увидав меня, поскольку понимала: она, именно она виновата в том, что наш бросок был задержан, я спустился

оттуда, где она уже должна быть. Она отдавала себе отчет в том, что я могу схватить ее за плечо и астряхнуть так, что душа вылетит, она все понимала, эта шлюха с золотистыми глазами, такая красивая и нежная, что было даже как-то странно видеть ее в горах...

Я снял с плеча автоматический карабин, поставил его прикладом на землю, оперся ладонями о ствол, чтобы хоть как-то дать отдых телу, и спросил:

— Что же ты делаешь, сучья дочь, а?! Я мокрый, потный, без сил, гоню за тобой вниз, а потом карабкаюсь в гору? Ты что, партизан, который знает устав, или проститутка какая?! Кто тебе разрешил остановить колонну?! За нами гонятся, стерва! Из-за тебя перестраивают товарищей! Ты понимаешь это или нет?!

Девушка потупила взгляд; одну руку она прятала за спиной, другой сжимала винтовку; в зеленой форме, в зеленом берете, среди яростной тропической зелени она была прекрасна...

Рука, спрятанная за спиной, делала ее похожей на ребенка, которого застали на месте преступления, когда тот взял конфету или мамино колечко без разрешения; в ее глазах теперь уж не страха, а настоящий ужас, потому что она слышала все, что я думаю о ней.

Я злюсь еще больше оттого, что она стоит, опустив голову, не произносит ни слова, — хоть бы возразила мне, объяснила хоть что-то; ты напугал ее, подумал я, и заставил себя услышать эти слова; поэтому она стала такой каменной. Тогда начинаю мять пятерней лицо, голову, шею, чтобы хоть как-то снять напряжение и ярость.

— Ну, что произошло, Яоска? — сказал я тихо. — Объясни мне толком.

Она медленно подняла голову, и я увидел на ее бледном лице робкое подобие улыбки; она боязливо вытасила детский кулачок из-за спины и тихо сказала:

— Это вам.

Я даже не сразу понял, что произошло. Празда. В ее руке был красивый, совершенно дикий цветок, и она протягивала его мне, по-прежнему чуть испуганно улыбаясь.

— Я его заметила, когда мы шли по тропе... Я не знаю, что со мной случилось... Но я просто не могла удержаться и пошла за ним... Он волшебный, он притянул меня, вот и все... Я сорвала его вам...

Сукина ты моя дочь, подумал я; миллион мыслей пронеслось в моей бедной голове, десять миллионов чувств, сто миллионов ассоциаций.

Я не возьму ее цветок, подумал я в первый момент, потому что если я его возьму, то, значит, оправдаю самовольную остановку нашего марш-броска. Мое состояние было сходно с тем, как если бы дьявола положили на святое распятие или дракона вытасили на солнце.

Женщины все чувствуют быстрее и острее, чем мы. Испуг Яоски прошел. Она теперь смотрела на меня спокойно и добро, а я под ее взглядом ощутил дикую, валяющую с ног усталость и какое-то минутное безразличие ко всему происшедшему. Я, который умел мгновенно реагировать в любой ситуации, сейчас не знал, как быть. И в порыве слабости, а может, чего еще другого, не знаю чего, я взял из ее рук цветок. Я стал соучастником преступления.

Я увидел этот цветок в глазах Яоски; она теперь улыбалась совершенно иначе, властно, сказал бы я, ведь я покрыл ее грех.

К колонне мы вернулись вместе. Яоска встала на свое место, а я быстро полез вверх, к Хусто; я шагала молча, не отвечая на тревожные взгляды товарищей; Хусто обернулся ко мне и яростно спросил:

— Что там случилось?
— Да так, — ответил я, — ничего не случилось, сущая ерунда, пошли...

— Это прекрасный законченный рассказ, Омар, — сказал я.

Он покачал головой:
— Нет, это не рассказ, а глава из новой книги... Гарсиа Маркес и Хулио Кортасар требовали, чтобы я продолжил мои «Горы»... Вот я и пишу... Я взял с собой еще один отрывок, — он хлопнул себя по карману куртки, — если хочешь, почитаю, когда поднимемся к нашим, они совсем близко...

Окончание следует.

Юлиан СЕМЕНОВ

ТРИ ПЕРЕВОДА ИЗ ОМАРА КАБЕСАСА С КОММЕНТАРИЯМИ

И действительно, через десять минут в ночи засветились огоньки, словно у нас, в благословенно-мирном Домбае; только живут здесь не горнолыжники, а «кортадорес да кафе», сборщики кофе, добровольцы, приехавшие из Манагуа,—сто сорок человек, сто сорок автоматов; день в дозоре, день на плантации; работа каждый день, без отдыха, и так в течение четырех месяцев; люди живут в асиенде, комната — для мужчин, чуть большая — для женщин; спят в гамаках; очень тепло; согреваются дыханием, в горах холодно; много детишек — матери, добровольно приехавшие сюда (в основном работницы аппарата Совета Министров, министерства финансов и культуры), берут малышей с собою, дома оставить не с кем: муж охраняет границу, отец расстрелян, сестра замучена в сомосовской охранке, мать умерла от горя — такое типично для Никарагуа...

Еду здесь готовят по очереди; особой славы пользуется Карин Кастро, заведующая секретариатом президента республики Даниэля Ортеги; приехала, как и все, на четыре месяца. Пища разнообразная: изо дня в день лепешка с фасолью в шесть утра, перед выходом на плантацию, в четыре пополудни то же самое, только по воскресеньям жарят яичницу. Вечером — засыпают тут рано, в девять, движок надо экономить — чай с куском сахара и лепешка. Жизнь здесь тяжкая, по условиям приближенная к фронтовой; то и дело добровольцы гибнут, сраженные автоматными очередями бандитов.

Но первое, что мы услышали, когда «джип» остановился неподалеку от асфальтовой площадки, украшенной незатейливой иллюминацией, была музыка, стремительная румба; нигде я не видел такой слаженной, стремительной, чувственной румбы, как там, в Лос Ногалес, на маленькой асфальтовой площадке перед старой асиендой.

К Омару подошел товарищ, отвечающий за дозорных, отпарторговал без показной выправки, спокойно, с достоинством, словно бы прислушиваясь к своим словам. Омар слушал его внимательно, хотя глаза его были обращены к сероглазой, пепельноволосой женщине в застегнутой партизанской куртке, брюках и стоптанных солдатских ботсах; она стояла неподалеку и не отрывала глаз от команданте.

— Мне сообщали, что молодые ребята, уходящие в секреты, курят, — заметил Омар. — Объясни им еще раз, что врага нельзя считать глупым; он умный, перестреляют всех, как цыплят. И еще они переговариваются в дозоре; это — преступление, ты же воевал, ты знаешь...

Лишь после этого он обнялся с товарищем, они похлопали друг друга по плечам, Омар перецеловал малышек, которые окружили его, каждому подарил карандаш, блокнот, конфету, значок и лишь после этого медленно, словно бы сопротивляясь чему-то, двинулся к той пепельноволосой женщине. Это Рут, команданте; он называет ее Гата; так ее называют все, потому что голубоглазый и пепельноволосый в Никарагуа принято называть «гатами», «кошками».

Музыка гремела вовсю, упоенно плясали «кортадорес», но Омар и Гата, казалось, не слышали ничего окрест себя; тишина сопутствовала им, блаженная тишина любви: Гата не видала Омара месяц и еще три месяца не должна его видеть, поскольку сбор кофе продолжался сто двадцать дней. У него свое дело, у нее — свое. Омар привез письмо одного из руководителей Сандинистского фронта, команданте Томаса Борхе. «Я не знаю, как передать ей письмо Томаса, правда... Гата — особый человек, она может и Томасу ответить: «Привилегии начальникам — визитная карточка диктатур, а я служу революции». И все, пойди переспорь ее!»

...Дело в том, что Пен-клуб Соединенных Штатов пригласил Кабесаса в качестве своего почетного гостя в связи со вторым изданием его книги; успех ее ошеломительный, в списке бестселлеров стоит на первом месте уже два месяца.

Узнав об этом, в Манагуа прилетели журналисты; Омар дал интервью нескольким телекомпаниям и газетам; но практически ни одно из этих интервью не было опубликовано в Штатах, свобода слова весьма выборочна и вполне управляема — без костоломства, сдержанно и по-джентльменски: все, что против сандинистов, печатают броско, на первых полосах газет, то, что за, замалчивается...

Поэтому руководство Сандинистского фронта приняло решение командировать в Соединенные Штаты Омара с женой: должен быть соблюден протокол, тем более Гата, выпускница Гарварда, прекрасно знает английский, сможет помочь мужу делом, один солдат революции — хорошо, два — лучше...

Они теперь стояли близко друг от друга, окруженные песней, танцем, грохотом праздничных петард; смотри на них, сказал я себе, наблюдай за каждым их жестом, любуйся ими, это твоя надежда, они словно кислород: когда становится плохо и нет сил дышать, такая чистота возвращает к жизни.

«Кортадорес» теперь отплясывали кукарачу, самый любимый танец никарагуанцев; ах, какое забытое слово! Сразу же вспоминается лицо Утесова, наша маленькая квартирка на Спасоналиковском, друзья отца: красивая Нюся Ларина, патефон, голос певца: «Я кукарача, я кукарача, потанцуй со мной!»

А команданте и Рут по-прежнему неотрывно смотрели в глаза друг другу, а потом Омар, ощущая, что «кортадорес» хоть и пляшут самозабвенно, а все равно наблюдают за ним, легко погладил жену по щеке, потом протянул ей руку и пригласил к кукараче. Танцующие немедленно окружили их тесным кольцом: всем понравилось то достоинство, с которым команданте и Гата встретились; молодец Омар, остался таким, как был; не отгораживается, доступен каждому, не надо записываться в очередь на прием — вот он, рядом, говори о чем хочешь...

...Ночью, когда мы сели к костру и Гата прочитала письмо Томаса Борхе, в ее голубых глазах взметнулись красно-белые языки пламени. Пожевав травинку, она наконец сказала:

— Хорошо, я поеду. Я доберусь отсюда на попутках... Я буду в Манагуа за день перед вылетом в Нью-Йорк... А когда мы вернемся, я отработаю на сборе кофе те две недели, что мы будем в Штатах...

...Как же часто мир страдает беспамьятством! Как трагично то, что он лишен дара чувствовать хитросплетение людских взаимосвязанностей! Как легко и бездумно мы бросаем ничего не значащую для нас фразу: «Чашку кофе, пожалуйста!» Мы садимся за столки, болтаем о пустяках и ничего не знаем о Лос Ногалес, где коричневые зерна собирают люди, отдающие себе отчет в том, что в любую секунду из зарослей может простучать автоматная очередь контраст; отхлебывая глоток ароматной влаги, мы не думаем, чего стоит труд — по колено в воде, когда в горах выпадает холодная роса, как у нас в конце сентября, работают с температурой, не хватает лекарств, мало калорийной еды...

Чашка кофе стоит значительно дороже того номинала, что обозначен в прейскуранте, трагично много дороже...

...Для справки: младшего брата Омара Кабесаса звали Раулем. Сомосовцы убили его за восемь дней до освобождения страны от диктатуры. Старший, Ксавьер, погиб во время сражения возле Леона, Хосе-Мария Кабесас-Донайре, сомосовцы расстреляли в госпитале за то, что его дети сражались в горах, чисто и свято веруя в то, что лишь революция может дать народу то, что он никогда не имел, — социальную справедливость.

На рассвете уже, когда тишина царила на асиенде и лишь часовые менялись время от времени, осторожно спускаясь с нар, чтобы уйти в секреты, Омар, приблизив свое лицо к пламени свечи, спросил:

— Хочешь, почитаю отрывок, который я посвятил Гате?

— Конечно, хочу, — ответил я.

Он достал из кармана куртки мятые листки бумаги, долго чертыхался, разбирая их: «Всегда путаю страницы, да еще слиплись от пота, будь они неладны, днем жарится, ночью мороз» (здесь плюс двенадцать идентично нашим минус тридцати).

Он, наконец, разложил перед собою листочки и начал читать, как всегда доверчиво, будто мальчик, пересказывающий другу сказку Андерсена, которую ему только вчера нашептала бабушка:

«— Знаешь, Гата, чем отличается ночь от моря, земли и ветра? Она спокойнее. Да и появляются они по-разному: море — внезапно, а ветер устрашающе, в то время как ночь постепенна. Она никогда не наступает в друг, в ней нет необузданности и зримой страсти...

Когда я воевал в горах, Ночь для меня была символом безопасности; я знал, что, когда она мягко, но в то же время властно опустится на землю, солдаты Сомосы не посмеют сунуться в горы, поскольку у Ночи свои законы, и главный из них — тишина.

Растворив в себе солнце, Ночь меняла все, а главное, нас; мы весело развешивали гамаки (я прожил в моем гамаке семь лет, не верится, право), закуривали сладкую — после десяти-

Окончание. Начало см. № 45.

тичасового перехода — сигарету, а перед сном шепотом пели наши песни, которые естественно вписывались в тишину.

Все замирало в горах, когда наступала Ночь; она была благосклонна к тем, кого любила; она не оченно-то стремится командовать, но камни, деревья, люди подчиняются ей, оставаясь там, где она их настигла. Животные — самые близкие друзья тьмы; она к ним благосклонна, они не обязаны оставаться на месте; шорохи, которые происходят оттого, что проползет змея или где-то мягко прокрадется ягуар, угодны Ночи, она не перечит им, видимо, потому, что эти шорохи еще больше подчеркивают объемность столь угодной ей тишины. Ночью все звуки совершенно особые, они совсем не похожи на дневные, особенно в горах; пароль Ночи — тишина; любой иной звук может возникнуть только с ее разрешения, более того, Ночь, видимо, заинтересована в том, чтобы возник именно этот звук, а не какой-то иной. Пожалуй, главным из таких ночных звуков следует назвать Ветер. Мне всегда казалось, что Ночь принимала Ветер со снисходительным соучастием. Поскольку Ночью правительственные войска никогда не решались нападать на нас, я ощущал какое-то особое успокоение, постоянно думая о том, отчего же мир снисходит именно на нас в темноте и тишине. Знаешь, Ночь немного похожа на мою маму, она мягко понуждает тебя к трезвому размышлению о прожитом; порою мне кажется, что философия — это дитя Ночи. Правда. Для нас, во всяком случае, Ночь стала основным пунктом отсчета времени жизни, а разве это не есть основа основ философии? Я был убежден, что Время начиналось и жило в Ночи. Оно не так стремительно Ночью и существует лишь для того, чтобы заявить себя как пункт отсчета, без которого невозможно существование. Ночью я часто думал: откуда появилось время? Как оно рождается? Что есть секунда? Сколь реальна ее протяженность?

Я не верил детским сказкам про то, что Ночь прячется от солнца в стволы деревьев, поваленных ураганами, или же спускается в земные недра. Я знал, что мать Ночи — небо, ведь она приходит именно оттуда... Но иногда мне думалось, что Ночь возвращается из Прошлого. Я старался представить ее себе во всей вселенской грандиозности, я хотел понять, как она живет на земле, опутывая ее собою, как убаюкивает огромные города, тушит свет на широких авенюдах, но при этом всегда помнит о нас и приходит в тот именно момент, когда наши силы на исходе, дыхания нет, карабкаться в горы невозможно более, а солдаты Сомосы идут по пятам, как гонимые. Иногда я боготворил ее, но порою, когда она задерживалась, думал, что она просто-напросто веселая беспутница, шландает по миру и ложится спать там, где вздумается. Нет, возражал я себе, неправда, она, может, и беспутница, но ведь она над всеми расами и странами, она поэтому соучастница всего происходящего! И при всем этом Ночь — хозяйка тишины, ларец с забытыми детскими игрушками, воспоминание о нежности, могила, свидетель любви и слез, сестра поэтического вдохновения и помощница мыслителя. Ночь полна легенд — в этом ее мистическая тайна. Она никому не навязывает себя, живет, как истинный художник, сама по себе, потому-то ей и не нравится, когда ее раят посторонним шумом, когда кто-то незнакомый норовит ворваться в ее владения. Ночь требует уважения к себе — точно такого же, какое она проявляет к окружающим: хорошим и плохим, красивым и уродам, чистым и грязным. О, как много людских тайн известно Ночи! Наверное, поэтому в ней все же есть что-то властное — она далеко не все позволяет живым существам, деревьям и лианам. Тишина — проявление страха перед ее неотвратимостью, тишина — это, если хочешь, проявление некоторой растерянности всех дневных звуков мира перед могуществом Ночи; тишина — это самоанализ звука... Только к ветру Ночь испытывает снисходительность, разрешая, словно шаловливому ребенку, бегать, шуметь, затаиваться... Прислушиваясь к порывам Ветра, я лежал в гамаке и думал, что, возможно, Ночь, зная наши пороки, запрещает людям вмешиваться в ее дела, понуждает быть тихими и краткими. А может, думалось мне, только самым мужественным дано вос-

стать против нее и пройти сквозь нее, как сквозь страшный, бесконечный, темный коридор, ведущий к свету... Иногда Ночь казалась мне таинственной вакханалией эротизма; безмолвная летаргия — лишь маска, призванная скрыть ее истинную сущность... Что любопытно: ночью я всегда предчувствовал появление Ветра. Еще до того, как он задувал, я говорил себе: «Вот он идет...» Вообще-то я хорошо знаком с Ветром, мы часто встречались с ним в горах во время переходов между боями. Я хорошо узнал его повадки, потому что мне от него и доставалось по первое число, но и ласку его я знал тоже. Он очень разный, этот Ветер. У него женский характер, при всей капризности он верен, никогда не предаст... И хотя в моем сознании Ветер больше ассоциируется с днем, чем с Ночью, но именно в тьме он раскрепощал мою фантазию, звал к себе, мчал над миром, в нем проявлялось что-то излишне дерзкое, рассветное... Ветер — главный хранитель тайн, поэтому я его маленько побаивался... Он же рождал во мне напряженное чувство ожидания: нет ничего страшнее ожидания, будь то писатель, страстно ожидающий публикации новой книги, художник, который ищет зал, где можно выставить картину, ученый, открывший новую формулу и нетерпеливо считающий минуты до того момента, когда он станет защищать ее перед настроенным залом, где соберутся коллеги... Когда Ветер задувал в ущельях так, что не было слышно голоса товарища, идущего в пяти шагах позади тебя, войска Сомосы обычно начинали свои операции, надеясь под рев урагана подкрасться к нам... Вот отчего он рождал во мне чувство напряжения, изводящего душу ожидания... Но когда наступала глубокая Ночь и Ветер продолжал свои, теперь уже безопасные для нас шалости (я же говорил, в Ночи сомосовцы боялись входить в горы), я начинал думать: откуда же он появился, этот веселый проказник? Все возникает из чего-то, правда? Вот я думал: может, он рождается в самом глубоком ущелье мира? Я был убежден, что он не может родиться в мелком кустарнике или на поле, — не его стихия. Скорее всего, казалось мне тогда, он рождался и рос в вертикальных разломах гор, на дне которых шумели невидимые глазу ручьи, только гуд — постоянный, тугой, напряженный. Я давно отверг предположение, что ветер таится в кронах деревьев, — это слишком очевидное, а потому ложное представление. Вообще-то порою мне было жаль его, — несется, словно Вечный жид, не может найти пристанища, не знает ни мгновения отдыха, вечно в движении... Вместе с Ветром бегут те, кого преследуют, вместе с ним летит над землей крик тех, кого пытают, он хранит в себе этот ужас, вбирает в себя души мятежных, они нравятся ему, он нежен с донкихотами... Ветру знакомы тысячи таких же рыцарей печального образа, он и сам чем-то похож на стрельчатобородого мечтателя: спешит, надрывается, силась объяснить что-то землянам, но разве да-

но им понять его страждущую душу?! В нем сумасшествие стихий, морские бризы, напоенные запахом йода и прелых водорослей, в нем звуки песен иных племен и народов, запах тех жилищ, которых уж нет более на свете, память о тех временах, когда земля не знала ни огня, ни людей, ни поугаев, он хранит в себе голоса погибших, стоны любящих, плач матерей, потерявших детей во время извержения Везувия... Иногда он казался мне толстым сукиным сыном, потому что обладал могуществом и знанием, но не желал делиться этими дарами Творца ни с кем из нас. Он бесстрашен и капризен, может вернуться куда ему заблагорассудится, ведь он такой могучий, никто не может остановить его... Я испытывал к нему нежность, когда он делался ласковым, освежающим, тихим, словно бы послушным тебе, — кажется, можно погладить его по головке, как любимую. Но стоит только показать ему свою нежность, как он взрывается бурей... Вот ведь сукин сын, а?! И все же чаще всего я сострадал ему, — и он, и я были одинокими странниками в ночи...

Но с кем я чаще всего ссорился, так это с Дождем. В горах он очень холоден, вбирает в себя то, что я люблю и с чем так или иначе дружен: Ночь и Ветер; вообще-то все существующее в мире надлено правом предстать перед тобою — в лучшем виде, обманув ли, притворившись, изменив себя, но только Дождь — всегда Дождь. Иногда он составлен из длинных, нескончаемых нитей; порою льет лавиной, единым, неразрывным целым; даже животные, мимо которых мы бежали, прятались от него под деревьями или в пещерах. Впрочем, мы благодарили Дождь, когда отрывались от преследования, находили место под утесом, там ставили палатки и смеялись над сомосовцами, которые топали по заднице в воде, они ж палаток с собою не носили, ночевали в крестьянских домах и асиендах, только мы жили своим особым лесным братством... Мы тогда пели, веселились, курили, не прикрывая ладонью огонек сигареты, мы были благодарны Дождю, спасибо тебе, ливень, ты очень нам помог.

Именно в такие ночи и дни я любил Дождь, он снижал давление, снимал постоянное, изматывающее нервное напряжение, рождал ощущение детской безмятежности: стучит себе по крыше палатки, а ты лежишь в гамаке или прижался спиной к товарищу, и ощущаешь тепло, и не думаешь о том, о чем часто думается, когда идешь навстречу сомосовцам.

Но вообще-то Дождь подкрадывается тайком, чаще всего с легким бризом... Другое дело, если пройдет грибной кап-кап-кап; нет большего подарка для гор, деревьев, травы, чем этот серебряный дождь, легкий, словно прикосновение руки любимой, сотканный из нитей, прошитых радугой...

Однажды я ощутил пронзительный и невозвратный момент истины: после боя мы стали лагерем, и вдруг зримо и стремительно Ночь бросилась навстречу Ветру, в это время

Сюзана Тельма.



Рисунки Дарьи СЕМЕНОВОЙ
Сальвадор Кардинал.



начался Дождь, и все окрест соединилось воедино: камни, деревья, мы, лианы, птицы, звери. Это был миг паразитического блаженства, когда Ночь и Ветер, объединенные серебряным Дождем, отдались друг другу, отдались целиком, без остатка.

Я видел это, правда. Я лежал в гамаке, зажавшись, и вбирал в себя этот праздник природы, я учился у Ночи, Ветра и Дождя тому, как надо любить друг друга, наслаждался видом этой прекрасной любви, я тогда по-настоящему понял, что такое любовь, и это было таким счастьем, что я испытал наслаждение сродни тому, которое испытываю сейчас, Га-та, когда вижу тебя...

...В ту Ночь я уснул легко, не думая о том, что нам предстояло сделать завтра, не думая о том, сколько наших погибнет в завтрашнем бою, не страшась того, что одним из тех, кто завтра должен погибнуть, буду я, потому что красота, возникающая в мире Ночи, Ветра и Дождя, дала мне ощущение бессмертия...

Омар достал сигарету, прикурив от пламени керосиновой лампы и спросил:

— Ну как?

Пронзительно-черные глаза тридцатисемилетнего генерал-лейтенанта Кабесаса вбирали в себя свет лампы, спящего на нарах студента, приехавшего на уборку кофе, тень автомата, стоявшего в изголовье, и я чувствовал, что ему сейчас не нужен мой ответ, он догадывается, каким он может быть, у него в глазах сосредоточенное отсутствие, он весь в своей новой главе; легко поднявшись, вздохнул:

— Как горько, что послезавтра нам придется уезжать в Матагальпу...

...Через два дня мы уезжали из Лос Ногалес; сборщики сахара пришли смотреть рисунки, которые за эти дни сделала художница, приехавшая сюда вместе с нами; работница банка Манагуа, показав пальцем на свой портрет, обернулась к Рут, жене Омара:

— Неужели я и вправду такая красивая, Га-та?

— Ты действительно очень красива, — ответила Рут. — Дарья поймала тебя.

Омар вздохнул:

— Только «ховен лобо»¹ на портрете получился некрасивым, хилым и неловким в движениях, правда, «вехо лобо»²?

— Неправда, — ответил я. — Тебе может позавидовать Бельмондо. Вы с ним, кстати, похожи...

— Но ведь он урод?!

— Не напрашивайся на комплимент, — сказала Рут с невыразимой нежностью. — Поцелуй нашу маленькую (их дочка, три годика), обними маму, передай привет всем друзьям, пожми руку Клаудии, скажи, что я напишу ей.

Когда мы сели в «джип» и начали спускаться в долину, я спросил:

— Кто эта Клаудиа, молодой волк?

Достав из-под сиденья пару гранат и положив на колени автомат — этот участок дороги протренировался особенно часто, — Омар, напряженно всматриваясь в окружавшие нас заросли, рассеянно ответил:

— Это женщина, которую я любил... Мы вместе воевали в горах.

— Га-та знает об этом?

— Конечно. Если спустимся в Матагальпу и нас не перестреляют, я дам тебе почитать главу из новой книги, она так и называется, «Клаудиа».

Нас не перестреляли, ночью мы вернулись в Манагуа, заехали к Омару, он перерыл письменный стол, долго чертыхался: «Где эта дерьмовая глава, надо же быть таким идиотом, чтобы писать в одном экземпляре, разгильдяй, жаль, если потерял, заново не напишу». Он нашел ее совершенно случайно на кухне — в который уже раз правил страницы за утренним кофе, положил на рукопись книгу, поди найди...

Мы вернулись в наш маленький домик, выпили по стакану ледяной воды, художница разложила на кафельном полу свои портреты, а я отправился переводить главу из новой книги Кабесаса...

«После того, как я получил письмо, в котором Клаудиа писала, что она полюбила другого, тоже партизана, мне казалось, что я умру. Прямо на месте. Сразу. Но я должен был во-

евать и, наверное, поэтому не умер. И очень испугался, когда получил ее второе письмо. Я очень испугался, потому что это было так трудно — сказать себе: «Все, забудь ее, Клаудии больше нет, она с другим, ты должен делать свою работу так, как делал ее раньше, когда она воевала в моем отряде и была рядом, даже если ее рядом не было».

Я вскрыл длинный конверт, достал листок бумаги и прочитал ее письмо: «Прости меня, Омар; позволь мне вернуться; я любила и люблю только тебя; то, что было, — следствие обстоятельств; я рассталась с тем человеком...»

Я спрятал письмо в пластиковый пакет, где хранил весточки от родных и друзей, чтобы они не промокли от влаги дождя, и спросил себя: «Ну, и что же мне делать?» Мужские законы — не знаю, кем уж и когда сформулированные — понуждали меня ответить Клаудии, что прошлое вернуть невозможно. Разве можно вернуть улыбку? Или вчерашнее утро? Я был обязан ответить именно так, несмотря на то, что любил ее, любил ее все то время, пока ее не было рядом; в глубине души я возликовал оттого, что она может вернуться; я убеждал себя, что мне совершенно безразлично, что она была с другим, хотя все эти месяцы боль в сердце была постоянной; я запрещал себе ответить ей согласен, я просто не имел права увидеть ее снова, потому что как только я ее увижу и она заговорит со мною, прошлое станет настоящим. Настоящим ли?

Если у мужчины есть жена и при этом другая женщина, то она, эта вторая, называется любимой. Если женщина замужем, но встречается с другим, он тоже любимый, кто же еще? С самого раннего детства нам толковывали: если мужчина знает, что у его жены есть любимый, и не бросает ее, не рвет с ней раз и навсегда, — значит, он презренный рогоносец. Эта убежденность была общей для всех никарагуанцев, для нашего Леона, для моей улицы и, что самое ужасное, для мамы.

Значит, разрешив Клаудии вернуться, я стану рогоносцем? Я должен буду привыкнуть к этой презрительной кличке, сжиться с ней и знать, что каждый думает обо мне с презрительным сожалением?! Как же мне объяснить людям, что я люблю ее? Наверное, в сердце у каждого есть такое, что никому не надо объяснять. Не надо, и все тут. Зачем, зачем, зачем, зачем я рассказал друзьям про то письмо Клаудии, где она призналась, что теперь у нее другой? Что они подумают, когда узнают, что я снова с нею? Они наверняка решат, что я не тот, каким казался им все то время, пока мы воевали в одном отряде. Они решат, что я дерьмо и слизняк. Те, кем я командовал, станут говорить, что их командир — козел, слабак, мужчина, лишенный чести. Они будут говорить об этом и во время перехода через горы к местам новых боев, и вечером, когда разведут костры — если мы станем на ночь в лождине, которая не просматривается, — и логика такого обсуждения не может не привести их к выводу: наш командир — мужчина второго сорта, рогоносец, он простил измену, может ли он руководить нами? Сейчас-то эти мои страхи кажутся дикими, но тогда я не находил себе места. Но потом я спросил себя: «Что же для тебя главное, Омар? То, чтобы женщина, которую ты любишь, вновь была рядом, или для тебя важнее, что станут говорить о тебе за спиной?» И я ответил себе: «Ты вернешься к ней, потому что ты не можешь не сделать этого, так ты ее любишь. И ты не будешь рогоносцем, если вернешься. У нас с ней все по-другому. А если я и стану им, то, значит, так тому и суждено».

Честно говоря, такой ответ все же не очень-то устроил меня, и я попробовал поставить себя на место Клаудии, на место всех женщин с их проблемами, трудностями, страхами и радостями. И я спросил себя: а если бы Клаудиа узнала о моей связи с другой? И все в нашем отряде узнали бы об этом? И она знала бы, что все знают про эту мою связь? Оставила бы она меня? Или нет? Считала бы, что я наставил ей рога? Нет, сказал я себе, она бы все равно была со мною... Вот ведь жизнь, а?! Монета, но переверни ее другой стороной, и все меняется.

Ух, как трудно быть женщиной! Особенно когда на каждом шагу тебя поджидает пуля

врага, каждый миг жизни может быть последним, когда нервы напряжены до предела. А ведь сражение «городского партизана» (Клаудиа пошла по нашему заданию для партизанской работы в городе) порой еще более страшно, чем борьба в горах... Здесь, в горах, у каждого из нас есть своя обойма и свой гамак, а в городе обойму приходится делить на двоих и спать на полу в одном крошечном, душном чулане... Сколько раз я провожал моих товарищей из конспиративной квартиры в городе, улыбался им, подбавлял, а назавтра видел их изуродованные лица на первых полосах газет, которые печатали фотографии уничтоженных «врагов народа»... В условиях такого ежеминутного ужаса люди особенно остро хотят жить, мечтают о любви, ведь мы так молоды, нам всего двадцать пять, а в горы и подполье мы ушли шестнадцатилетними... Мы очень хотели жить, ах, как мы мечтали жить, хотя отдавали себе отчет, что каждый из нас может (или должен) погибнуть...

И вот Клаудиа, «городская партизанка», моя любимая, нежность моя и душа, сошлась — в этих жутких условиях ежеминутного предсмертья — с кем-то из моих товарищей, таким же партизаном, как и я... Можно ли клеймить ее позором? Вправе ли кто обвинить ее? И как мне не простить ее? Если бы тот, с кем она сошлась, был каким подонком, слизняком, прощельгой, тогда другое дело, но ведь это у нее случилось с таким же, как я, с товарищем, братом по борьбе... Может быть, он погиб, поэтому она и решила вернуться ко мне? Нет, она бы так и написала...

Все смешалось у меня в голове... Я должен был принять решение, я не мог не ответить Клаудии, но я ощущал, как во мне глухо и темно поднималась ревность, рождался червь-древоточец, зуб, злоба, во мне бушевали злые духи — косматые беззубые старухи с пропITYми голосами, перед глазами то и дело возникали видения того, что она делала с тем, другим...

Помнишь, я как-то говорил, что человек в горах многое теряет? Отваливаются целые пласты былых представлений о жизни, ненависти, любви, нежности, ты меняешься, становишься другим, то есть настоящим, каким и должен быть. По прошествии долгих лет в горах и городском подполье ты расстаешься и с воспоминаниями; это ведь в человеке самое личное, свое — в твои воспоминания не может вернуться полиция, их не ущет детектор лжи, это великое недосягаемое — воспоминания. Получив письмо Клаудии, я понял, что случилось непонравившееся; воспоминания вернулись ко мне, в настоящем утвердилось прошлое. Главное свойство мозга — память, ее выборочность; сейчас самой болевой точкой моего мозга сделалась любовь к Клаудии, а в таинственной глубине этой болевой точки я всегда хранил глаза Клаудии...

У нее были совершенно особенные глаза... Когда мы познакомились, я сразу же полюбил ее всю — ее прекрасные волосы, манеру держаться, ее очки с диоптрией, очень красивые, большие очки, которые так ей шли... Однако солнце постоянно бликовало в стеклах очков, и я не сразу смог понять ее глаза... Впервые я по-настоящему рассматривал ее глаза, когда мы остались вдвоем и она сняла очки... Я понял ее глаза, когда мы оказались одни на этом свете, близко, вместе, и ее глаза были широко открыты, а на лице тайлась странная, отрешенная улыбка...

Ее глаза были кофейного цвета; кофейные зерна, кожа вроде красного дерева, а может, меда — когда как; нос у нее был чуть длиннее, чем следовало бы, какой-то арабский... Медные волосы, медная кожа, кофейные глаза, правда, красиво? Чем дольше я присматривался к ее глазам, тем больше открывал их для себя. Особенно интересны были зрачки: симметричность линий и каких-то таинственных, глубинных рисунков делала их притягивающими, необыкновенными... Когда я любил Клаудию, ее глаза смеялись, лицо замирало в улыбке, и тело, казалось мне, тоже смеется от счастья, хотя я не мог видеть этого, оттого что самое большое наслаждение доставляли ее глаза. В них было счастье ее тела, моего тела, наших двух тел вообще, счастье всего мира. В самый последний миг рождался, грохотал и низвергался солнечный дождь, который высвечивал ее лицо изнутри, она широко открыва-

¹ Молодой волк (исп.).

² Старый волк (исп.).

ЗОЛОТАЯ ПАРА



Деятиклассница 704-й московской школы Катя Гордеева и 19-летний студент института физкультуры Сергей Гриньков в разные годы успешно сдали экзамен при поступлении в знаменитую школу фигуристов ЦСКА. (Заметим, что в конкурсе участвовало около трех тысяч мальчиков и девочек!) Мамы и папы, бабушки и дедушки приводили детей учиться на Роднину, Пахомову, Зайцева, Горшкова... Но родители Гордеевой и Гринькова хотели лишь одного, чтобы фигурное катание помогло их ребятам стать сильными и ловкими, научило чувствовать музыку, красоту и гармонию движений, помогло выработать правильную осанку и настоящий спортивный характер.

Далеко не сразу раскрылись дарования двух юных фигуристов. Катя и Сергей пробовали свои силы в одиночном катании, не подавая особых надежд. Решение испытать их в парном катании можно было расценить как признание. (В то время еще было мнение, что если не подходишь для одиночного катания — иди в парное, не годишься в парное — иди в танцы.) Может, именно по этой причине Сережа, уже добившись успеха в разряде юношей, с огорчением встретил предложение испытать свои силы в парном катании, тем более что в партнерши ему подобрали маленькую и худенькую девочку, ученицу третьего класса.

А Катя первой совместной тренировки ждала с нетерпением. Волновалась, хотя толком не могла понять, зачем ей нужен партнер, когда так хорошо кататься одной.

Но в школе ЦСКА действовала строгая дисциплина, и юных спортсменов без лишних разговоров повели в тренировочный зал. Каково же было удивление Сергея, когда он убедился в том, что у него не хватает сил, чтобы поднять эту маленькую девочку. Дома ему пришлось много раз поднимать старшую сестренку, и лишь после этого Катя стала называться ему пушинкой.

Не прошло и года, как молодая пара в силе и ловкости уже не уступала многим именитым спортсменам. И все же после каждой тренировки синяков и ссадин было не счесть. А сколько сил и времени потребовалось для подготовки первой программы!

С ними работали такие опытные тренеры, как В. Захаров, С. Леонович, С. Жук, такой умелый хореограф, как М. Зуева, и балетмейстер В. Мунтян. И все же первого успеха ждать пришлось два года. Но этот успех был головокружителен: школьница Катя Гордеева и студент Сергей Гриньков стали чемпионами мира среди юниоров! Чемпионат Европы принес им серебряные награды, а ровно через месяц, на чемпионате мира в Женеве, искушенные арбитры не устояли перед мастерством молодой пары и единодушно признали ее лучшим дуэтом мира.

Мне приходится ежедневно наблюдать за тренировками молодых чемпионов. Любители фигурного катания не могут себе даже представить, как сложно выполнять многооборотные подкрутки и особенно выбросы, сколько разочарований, огорчений и обид от неудач ежедневно приходится переживать золотой паре. А времени для отдыха, как всегда, очень мало.

...Я надеюсь увидеть Катю Гордееву и Сережу Гринькова на олимпийском пьедестале в Калгари, и к этому есть веские аргументы.

Виктор РЫЖКИН,
заслуженный тренер РСФСР
Фото А. Голованова

ла подрагивающие кофейные глаза, и в ее зрачках я видел то, что она скрывала ото всех: феерический поток огней незнакомого ни ей, ни мне города, мерцание свечей на балу в королевском дворце, веселье в доме старенькой бабушки, грохочущий паводок после весенних дождей... Я не поэт, мне не хватает слов, чтобы описать то, что я видел в тот прекрасный, последний миг любви в ее глазах... Нет большего счастья для мужчины, чем чувствовать счастье женщины, в глазах которой бьется все многоцветье мира, все запахи его лугов в горах, все его мелодии, что слышатся в ночной сельве, когда ты один на один с миром и рождается предчувствие того, что сейчас твоему взору откроется асиенда, и там нет сомосовцев, и крестьяне, собравшись возле костра, поют свои великолепные песни, и ты испытываешь такую успокоенность, которую не может понять тот, кто не провел вместе с нами годы в этих бескрайних зеленых горах...

Когда мы были вместе с Клаудией, мне думалось, что нет ничего прекраснее, полней и законченнее, чем наша любовь; это как первые лучи солнца в мамином доме, как первое в твоей жизни мороженое, купленное отцом в день праздника, это вроде анильской сливы в меду, это песня Донны Саммерс, улыбка Аль Пачино, Тайная Вечера...

Я говорю так сумбурно потому, что, когда наступал сладостный миг любви, в глазах Клаудии все смешивалось: и музыка, и самые фантастические цвета, которых нет на земле, радуга, купающаяся в песнях, тишина, которую слышат в космосе...

Воспоминания... Память... Я никогда не мог заставить себя забыть ее счастье, которое было и моим. Я никогда не мог забыть, как с ее волос стекали капельки ливня, и они были на-

поены запахом цветов и горной воды, и я жадно ловил их пересохшим ртом, и ее глаза, огромные, улыбающиеся, отрешенные, таинственные, как Джоконда, были рядом с моими глазами...

И эти глаза видел кто-то другой?! И так же, как я, пил капли солнечного ливня?! И слышал бетховенский орган?

Я мучился много дней, а потом сказал себе: «Все, хватит, Омар! Или — или. Давай решим так: ты сам отдал товарищу эти глаза. Взаимно. Иначе бы он умер с голода. Или умер, не имея возможности получить лекарство. Да и потом у нее с ним все было по-другому. Он же не мог понять ее глаза так, как понимаешь их ты, правда?»

...Я отложил рассказ Омара, лег на широкую тахту, включил кондиционер, сразу же услышал крик яварских цикад и ощутил влажную тишину тропической ночи.

Закурив, спросил себя: «Ну и что, старый волк? Ты бы решился написать такой рассказ о том, кого любил, и прочитать это жене, матери своей трехлетней дочке? Однажды ты попробовал такое, и тебе до сих пор стыдно из-за того, что случилось после... Такой рассказ мог написать только тот, кто десять лет провёл в горах и городском подполье, а последние семь лет под пулями контраст... Воистину иной отсчет самоуважения... Революция рождает честность в отношениях между мужчиной и женщиной; правда, только правда, ничего, кроме правды... И восхитаться этим рассказом может лишь та жена, которая отдала свое миллионное приданое революции, а удачи в Гарварде, помогала, чем могла, сандинистам... А может быть, Гата ломает себя, — подумал я. — Может быть, она относится к редкому типу сильных и умных женщин, которые

понимают мужчин, своих младших братьев и сыновей? Каждая женщина старше мужчины; возможно, в Гате совмещено несовместимое: очень красивая, молодая, старая женщина, сильная и мудрая? Нет, ответил я себе, — просто Гата есть Гата, Омар есть Омар, а Никарагуа — это Никарагуа...»

Мы исследуем подвиги революционеров, их самоотверженность, логику борьбы, но отчего же вне поля зрения остаются такие моральные категории, как любовь, честность, уважение к чувству другого? Может быть, это столь же важно для человечества, как и сражение против зла и социальной несправедливости? Когда появляется плесень ханжества? Кто благословляет ее, отбрасывая в прошлое то, что рождалось вместе с крушением рабства, абсолютизма, диктатуры? Чем объяснить то, что революция, свертывая Бурбонов, так покорно благословила новую монархию Бонапарта?

Как сохранить живую память революции в поколениях? Сколько ни кричи «халва», во рту от этого не станет слаще. Что больше помнит Франция: штурм Бастилии или триумф Наполеона? Поди ответь... Однозначность будет успокоительной ложью; с другой стороны, возможна ли многозначность ответа в наш прагматичный, хоть и взбаламученный век?

...Только в правдивых пьесах или романах герои обязательно находят верное решение; в жизни все труднее и горестней; поэтому я выпил таблетку снотворного и выключил свет; спасительное «утро вечера мудренее» позволяет человеку продолжить жить и выполнять свои обязанности, хотя это совсем не простая штука, особенно в годину крутого перелома, накануне того часа, когда надо принять решение — единственное на те годы, что тебе осталось прожить на земле, зная, что отпущено их очень немного.